

# **ДЕНИ ДИДРО**

---

*МОНАХИНЯ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА*

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44  
Д44

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с французского Э. Шлосберг, Д. Лившиц

Серийное оформление А. Фереа, Е. Фереа

Дизайн обложки В. Воронина

**Дидро, Дени.**  
Д44 Монахиня : [роман] / Дени Дидро ; [перевод с французского Э. Шлосберг и Д. Лившиц]. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-191262-8

Юная Сюзанна против воли вынуждена принять постриг и уйти в монастырь. К своему ужасу, чистая и искренне верующая девушка понимает, что в стенах святой обители царят жестокость, злоба и деспотизм и лишь немногие монахини посвящают жизнь искреннему служению Господу. Не в силах терпеть подобное положение, Сюзанна решает любой ценой обрести свободу.

Из-за ярко выраженного антиклерикального настроения роман «Монахиня» не был издан при жизни автора — книга вышла спустя десять лет после смерти Дидро, в разгар Французской революции. Публика оценила произведение по достоинству, и «Монахиня» заслуженно заняла место среди лучших произведений писателя.

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-191262-8

© Перевод. Э. Шлосберг, 2023  
© Перевод. Д. Лившиц, наследники, 2026  
© ООО «Издательство АСТ», 2026

От ответа маркиза де Круамар — если только он мне ответит — зависит все, что последует в дальнейшем. Прежде чем написать ему, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, прису-

щим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если когда-нибудь мой покровитель потребует — да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия, — чтобы эти записки были закончены, а отдаленные события уже изгладятся из моей памяти, — этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, не жили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!» — она никогда не относилась этих слов на мой счет. Ино-

гда я бывала сторицей вознаграждена за ее несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной — словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя — откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева, — а он был горяч, — некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги — все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, — кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованны, то чем я риску, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.

Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек; вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие, и вот как меня отблагодарили за него: дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в монастырь Св. Марии — мой первый монастырь — с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К., он нотариус в Корбейле; они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего г-на Бошона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампуа, и живет с ним довольно хорошо.

Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам

дали порядочное приданое, я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери; он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода: она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услышав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже, — сказал отец Серафим, — ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель: вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей, а эта смерть может наступить еще не скоро...» Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена; она ждала меня за дверью приемной. Я была в неописуемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? (Она лучше меня знала, что со мной.) На вас лица нет! Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть! Уж не потеряли

ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах если бы это было так!» — но сдержалась и только воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери, я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня; соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности, обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О сударь, вы даже представить себе не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей! Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные: ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для решения, наступил, и она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их: умение обуздывать свои чувства — великое искусство монахинь. Затем она сказала — и, пра-

во, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое! Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами!..» Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча, потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что, — сказала она, — почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Пусть так! Почему бы вам и не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему — только пробыть у нас еще два года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому — жить. Два года — немалый срок: мало ли что может случиться за это время?» К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. «Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило?»

Итак, она написала моему отцу; ее письмо было составлено превосходно — о, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы — ничего она не утаила, и, уверяю вас, тут и более проницательная девушка была бы введена

в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какою быстротой все было готово! Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии — теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков.

Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбонны, подготовлял меня, а епископ Алепский совершил надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я двадцать раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде

ее стан и руки!..» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало внимания. Однако окружающие притворились, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право, не знаю, — сказала она, посмотрев на меня, — почему вы питаете такое отвращение к этой одежде. Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна — премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо, не нужно так горбиться...» Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя — урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Затем она села и сказала: «Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы выиграли два года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда, — это не

так уж невозможно». — «Сударыня, об этом нечего и думать». — «Вы долго были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и отрады...»

Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много, и везде одно и то же, — благодарение Богу, мне давали читать целый ворох дребедени, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают.

Не стану подробно описывать вам мое послушничество. Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила; в действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница послушниц — всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача — скрыть от вас все тернии монашества: это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны.

Стоило мне чихнуть два раза кряду — и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее, устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя Богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения Богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.

Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться; я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем настоятельнице или наставнице послушниц. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемерок и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов это так им надоедает, становится таким скучным! И все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи экю, которая достается их монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на сорок, на пятьдесят лет, — а быть может, и вечную ги-

бель. Ибо нет сомнения, сударь, что из ста монахинь, которые умирают, не достигнув пятидесяти лет, ровно сто губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти.

Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья — в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее! Она была растрепана и почти раздета; она волочила за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла; она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями; она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас, я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, тысячу раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой: она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды — она переживала тогда критический возраст — ее

сильно напугали, и ей стали являться привидения; она вообразила, что имеет общение с ангелами; она начиталась зловредных книг, которые и помutilи ей рассудок; она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом Божиим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и геенна огненная; все они, монахини, просто несчастны из-за нее: ведь это неслыханный случай — иметь в своем монастыре подобную личность; и не помню уж, что еще... Все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета.

Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром, после ранней обедни, настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние, руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня; казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первая. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я: вид мой показался ей не совсем здоровым.